

АНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*К 80-летию
Федора Александровича
Петровского*



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА

1972

Редакционная коллегия:
М. Е. ГРАВАРЬ-ПАСЕК, М. Л. ГАСПАРОВ,
Т. И. КУЗНЕЦОВА

М. А. Гаспаров

НАЧАЛО «ИФИГЕНИИ В ТАВРИДЕ» ЕВРИПИДА

Предлагаемый читателю опыт, пожалуй, не столько перевод, сколько (по-современному выражаясь) «антиперевод». Он рассчитан на то, чтобы читатель сверял его не с греческим подлинником, а с предшествующим русским переводом — переводом Иннокентия Анненского. Это — попытка перевести Еврипида, исходя не из той системы поэтических средств, какою пользовался Анненский, а из иной, намеренно несхожей.

Еврипид Иннокентия Анненского — признанная классика русской переводной литературы. Не одно поколение читателей — как филологов, так и нефилологов — воспринимало и еще будет воспринимать Еврипида именно таким, каким донес его до нас Анненский. Сейчас, когда еврипидовские переводы Анненского впервые собраны в полном издании («Художественная литература», 1969, т. 1—2), сила их воздействия станет еще интенсивнее. Конечно, когда-нибудь явится новый переводчик и даст нам нового Еврипида, перебив обаяние прежнего перевода; но ждать такого переводчика, который по таланту и по подвижнической решимости посвятить себя Еврипиду и только Еврипиду сравнялся бы с Анненским, придется, вероятно, очень долго.

Впервые знакомясь с греческими трагиками, еще не зная греческого языка, мы воспринимаем Эсхила по В. Иванову и по А. Писотровскому (который по мере сил подражал тому же Иванову); Софокла — по Ф. Зелинскому; Еврипида — по И. Анненскому. И это надолго оставляет в нас впечатление, что Эсхил — великолепен, выпретен и тяжеловесен, Софокл — интеллигентски умен и адвокатски красноречив, а Еврипид — болезненно утончен и декадентски манерен. В филологе такое впечатление остается до знакомства с подлинником, в нефилологе — навсегда. Конечно, такое положение лучше, чем если бы, например, те же переводчики «распределили» между собой переводимых авторов каким-нибудь иным образом или если бы всех их переводил какой-нибудь переводчик без всякой индивидуальности, вроде Мережковского. Однако ясно, что все три облика трех трагиков, знакомые русскому читателю, отражают их подлинные облики не полностью, а лишь какой-то одной их гранью. К Еврипиду Анненского это относится, пожалуй, больше всего.

Научное изучение переводов Анненского из Еврипида еще не начиналось. Поэтикой Анненского сейчас занимаются много (к сожалению, больше в зарубежном, чем в нашем литературоведении), но переводы его привлекаются при этом к изучению в последнюю очередь, — хотя вряд ли где нагляднее выявляется поэтическая

индивидуальность Анненского, чем при сравнении с подлинниками его переводов — будь то переводы из «парнасцев и проклятых» или из Еврипида. Это — тема для будущих исследований. Но две, самые внешние, особенности его стиля в Еврипиде бросаются в глаза даже при самом поверхностном чтении. Первая — это многословие: следя за нумерацией стихов на полях, мы видим, что сплошь и рядом 10 стихов подлинника превращаются у Анненского в 13—15 стихов перевода; конечно, все метрико-синтаксические соответствия при этом теряются. Вторая — это разорванность синтаксиса: там, где в подлиннике развертываются связанные логические цепи мыслей, в переводе мы видим разорванные эмоциональные куски: восклицания, вопросы, медитативные недоговорки. Ярче всего сказал об этом один из первых критиков Анненского — Ф. Ф. Зелинский («Из жизни идей», т. 2. Изд. 3. СПб., 1911, стр. 375): «Рассудочный характер античной поэзии ведет к тому, что ее мысли сцеплены между собою либо взаимной подчиненностью, либо всякого рода союзами и частицами. Это для переводчика один из главных камней преткновения. Русская поэзия периодизации не терпит и бедна союзами; приходится сплошь и рядом нанизывать там, где античный поэт сцеплял, разбивая его цепи на их отдельные звенья. . . Как издатель античных текстов, я люблю пользоваться всеми знаками современного препинания, включая и многоточие. И тут я убедился, как редко удается вставить этот знак в текст подлинной греческой трагедии: по-видимому, такие места сознавались и автором и его публикой как места сильного драматического эффекта. У переводчика [И. Анненского], напротив, это один из наиболее встречаемых знаков: в одном монологе. . . он встречается 19 раз, занимая место непосредственно после запятой (32 раза). Отсюда видно, что дикционная физиономия Еврипида, если можно так выразиться, у его переводчика должна была сильно измениться».

Зелинский привел и примеры; один из них — «знаменитый монолог Федры в первом действии. Его рассудочность вырастает из самого характера героини; она так естественна, что с ее устранением пропадает и поэзия. Вот точный прозаический перевод начала (ст. 374 сл.): «Уже и раньше в долгие часы ночи я размышляла о том, что именно разрушает человеческую жизнь. И я решила, что не по природе своего разума люди поступают дурно — благоразумие ведь свойственно многим — нет, но вот как должно смотреть на дело. Мы и знаем и распознаем благо; но мы его не осуществляем, одни из вялости, другие потому, что они вместо блага признали другую отраду жизни». У И. Ф. мы читаем:

Уже давно в безмолвии ночей
 Я думою томилась: в жизни смертных
 Откуда ж эта язва? Иль ума
 Природа виновата в заблужденных? . .

Нет — рассужденья мало — дело в том,
Что к доброму мы не стремимся вовсе,
Не в том, что мы его не знаем. Да,
Одним мешает леность, а другой
Не знает даже вкуса в наслажденье
Исполненного долга.

Редактируя перевод Анненского для издания Сабашниковых (т. 2, 1917), Зелинский перевел этот кусок заново; читатель может сличить приведенные тексты и убедиться, что в переводе Зелинского точности прибавилось, но дробности не убавилось. Насколько собственные переводы Зелинского страдают теми же двумя пороками, многословием и дробностью, давно отмечено В. Нилендером в послесловии к изданию Софокла 1936 г. (стр. 194). Но интересно не это. Интересно, читая соображения Ф. Зелинского о рассудочности, логичности, связности самых страстных излияний Федры, вспомнить, что именно эту особенность античной мысли и чувства заметила и замечательно передала в одном из своих стихотворений на тему «Федры» (1923) Марина Цветаева:

Инополиту от Матери — Федры — Царицы — весть.
Прихотливому мальчику, чья красота, как воск
От державного Феба, от Федры бежит. . . Итак,
Инополиту от Федры: стенанье нежных уст.
Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припада к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст. . .
Утоли мою душу: итак, утоли уста.

Сжатость вместо многословия и связность вместо эмоциональной разорванности — вот цели, которые мы преследовали в нашем опыте перевода начала «Ифигении в Тавриде». Именно так, казалось нам, лучше всего можно передать на русском языке то сочетание мужественности и рассудочности, которое так специфично для стиля греческой трагедии. Ради сжатости мы намеренно взяли размером перевода пятистопный ямб с преимущественно мужскими окончаниями — стих, более короткий, чем стих подлинника и обычных русских переводов; для переводчиков, привыкших жаловаться на громоздкую длину русских слов, подобное самоограничение всегда бывало полезной дисциплинарной мерой. Конечно, при малом мастерстве переводчика сжатость всегда грозит обернуться сухостью, а логичность — вялостью; вероятно, и мы не избежали этих недостатков. Пусть читатель смотрит на них как на издержки эксперимента — ибо этот перевод является только экспериментом, который, может быть, пригодится тому будущему переводчику, какому суждено дать нам нового Еврипида на русском языке.

ПРОЛОГ

И ф и г е н и я

И. — Сын Тантала, Пелоп, примчавшись в Пису.
Дочь Эномая в жены залучил.
Их сыном был Атрей, а сын Атрея,
Царь Агамемнон, Менелаев брат,
Стал зятем Леды и моим отцом.
Мне имя — Ифигения. Меня
У пенных крутней синего Еврипа
Заклал отец — так верит он и все —
Елене в честь и в жертву Артемиде.
10 Там тысячную стаю кораблей
Собрал в Авлиде Агамемнон-царь,
Чтобы отбить ахейцам у троян
Венец побед и чтобы дерзкий брак
Елены отомстить за Менелая.
Но тишь ветров закрыла путь судам,
И, глядя в пламя жертв, промолвил жрец:
«Знай, Агамемнон, вождь ахейских войск,
Что не поднять причалов кораблям,
20 Пока твое дитя не примет смерть
На алтаре богини светоносной.
Был год — ты обещал ей лучший плод,
И плод сей — дочь твоя и Клитемнестры:
Он лучше всех, и жертвой должен пасть.
Так обо мне сказал он. Одиссей
Меня увез на мнимый брак с Пелидом,
И, вскинута на жертвенный костер,
Я, слабая, ждала уже меча,
Как вдруг, в замену мне, простерлась лань
30 На алтаре, а я сквозь блеск небес
Умчалась вдаль, умчалась в землю скифов.
Здесь варварский над варварами царь,
Фоант, чье имя значит «быстроногий»
И чьи стопы быстрее, чем крылья птиц,
Меня поставил жрицей в этом храме,
Где Артемиде правится обряд,
По имени лишь сходный, а в ином —
Но не сужу: не мне гневить богиню.
Всех эллинов, каких сюда прибьет,
Велит обычай в жертву приносить —
40 И я вершу обряд, а страшный нож
Заносит тот, кто чужд ее святыням.
И вот я вышла, чтобы солнце дня
Мне осветило тайну снов ночных.

Мне снилось, что, покинув этот край,
 Я в Аргосе спала среди подруг,
 Как вдруг удар сотряс земную грудь:
 Я в ужасе бросаюсь из дворца
 И вижу: пали в прах зубцы стены
 И рухнула возвышенная кровля.
 50 Где отчий дом стоял, там столп стоит,
 И русые с него свисают кудри,
 И голос человеческий звучит.
 А я, служить привыкшая смертям,
 Его последней влагой омываю,
 Рыдающая. — Ясен этот сон!
 Орест погиб: его я обряжала!
 Ведь всем домам опора — сыновья,
 А омовения мои — предсмертны.
 И сон грозит не ближнему, а мне:
 60 Ведь Строфий был бездетен в год Авлиды.
 Но в память брата я хочу свершить
 Чин возлияний, дальняя о дальнем,
 И жду прислужниц эллинских моих,
 Которых мне пожаловал Фоант,
 А их все нет. Войду в святой чертог,
 Где я живу, хранимая богиней.

Орест и Пилад

О. — Смотри, смотри, не выслежен ли след?
 П. — Смотрю, повсюду обращая взор.
 70 О. — Не это ли, Пилад, богини сень?
 П. — Мы об одном подумали, Орест.
 О. — Вот жертвенник для эллинских смертей. . .
 П. — На нем темна запекшаяся кровь.
 О. — Доспехи ко стенам пригвождены. . .
 П. — Добыча с тех, кто жертвой здесь погиб.
 О. — Но будем чтить на все глядящий глаз.
 О, Феб! в какую сеть меня вели
 Твои глаголы вещие, когда,
 80 Кровь матери пролив за кровь отца,
 Эринниями мстящими гоним,
 Без счету исходив окольных троп,
 К тебе припал я внять, когда конец
 Безумью этих мук, чей тяжкий бег
 Преследует меня по всей Элладе?
 Ты мне велел достичь Таврийских круч,
 Где Артемиде высится алтарь,
 И где когда-то, говорят, с небес
 Ниспал святой кумир твоей сестры.
 Его я должен взять или отбить

- 90 И с ним отплыть к аттической земле —
 Избыв свой труд, я там найду покой.
 Вот все, что ты позволил мне узнать.
 И я, твоим покорствуя словам,
 Причалил здесь, в краю чужом и злом.
 Но что нам делать дальше, друг Пилад,
 Товарищ мой по всем моим бедам?
 Ты видишь сам: ограда высока.
 Взойти к дверям? но медный их затвор
 Неведом нам и дастся только лому.
- 100 А если нас застигнут у дверей
 На приступе ко валому, что нас ждет?
 Смерть! Убежим от гибели, Пилад,
 На тот корабль, что нас сюда принес.
- П. — Бежать нельзя: бежать нам не к лицу.
 Мы божью волю преступить не в праве.
 Укроемся в пещере, в стороне,
 Где в своды брызжет пеной черный вал,
 Вдали от корабля, чтоб нас никто
 Не высмотрел, не выдал, не схватил.
- 110 А в час ночной всезрящей тишины
 Любая хитрость будет нам путем
 Добыть из храма тесаный кумир.
 Ты видишь: там меж балок есть проем —
 Готовый лаз для тех, кто смел: храбрец
 Дерзнет на все, а трус — повсюду трус.
 Затем ли мы гребли в морскую даль,
 Чтоб воротиться вспять от самой цели?
- О. — Ты правду молвил, друг. Да будет так.
 Найдем приют и скроемся от глаз.
- 120 Коль божий зов ответа не найдет
 В делах людей — не бог тому виной.
 Дерзнем: опасность юношам отрада.

И ф и г е н и я , х о р

- Х. — Благоговейно
 Будьте безмолвны,
 О насельницы скал Эвксинских!
 К горной Диктинне,
 Дщери Латоны,
 В пышноколонный, золотом крытый
 Храм священный
- 130 Я вступаю девичьей стопой,
 Честной жрице честно служа
 Вдали от родного края,
 Многоконных равнин, многоплодных садов,
 Где плещет Еврот,

- Где наших отцов хоромы.
 Для каких вестей, для каких речей
 Созвала ты нас во священный храм,
 О достойная дочь
- 140 Того, кто вел к троянским стенам
 Строй тысяч весел и тысяч щитов,
 Атридово славное племя?
- И. — Увы, друзья,
 В горе, в горе — горшего нет!
 Незвучным голосом скорбный напев
 Завожу сквозь стон
 — Увы! — погребальных жалоб
 О жизни того, кто со мной рожден,
 Ибо злая сбылась надо мной судьба,
 150 Ибо в ночь, явившую черный сон,
 Пробудилась я сиротою.
 О, смерть моя, смерти!
 Рухнул в прах отеческий дом,
 Иссяк, угас знаменитый род —
 Горе Аргосу, горе!
 Увы, увы, беспощадный бог,
 Кем отнят, кем брошен в аидов мрак
 Кровный мой, единственный брат,
 160 Которому я на земную грудь
 Пришла возлить приношенья:
 Струю молока от горных телиц,
 Сок винных лоз — Дионисов плод
 И сладкий дар черно-желтых пчел
 Из чаши, желанной мертвым.
 Дайте же мне золотой потир,
 Тройным возлияньем полный!
- 170 О, Агамемнона лучший цвет,
 Прими в загробной твоей сени
 Посмертный дар! Не пролить мне слез,
 Не рассыпать русых моих кудрей
 Над прахом твоим; не вернуться мне
 В родной наш край,
 Где я под мечом трепетала!
- Х. — Песня на песню, звук на звук,
 180 Варварский отклик, азийский лад
 Тебе, госпожа, ответит
 Тем заунывным плачем,
 Каким полна аидова ночь,
 Где радость навеки молкнет.
 Горе, горе! Угас, угас
 Атреева скипетра царственный блеск —
 Горе отчему дому!

190 Где аргивских блаженных царей
 Державная длань?
 Беда беду нагоняет
 С тех пор, как солнце, в бегу вихревом
 С колеи рванув окрыленных коней,
 Помрачило священный лучистый зрак,
 И на каждый чертог напала напасть —
 За смертью смерть и за скорбью скорбь —
 Злой приплод золотого овна:
 Сбывается казнь
 200 За грехи отцов Танталидов
 Над домом твоим: злой местию мстя,
 Над тобой свирепствует демон.

И. — Демон, демон! От первых дней
 Злополучен был матери брачный одр
 И брачная ночь; от первых дней
 Суровую пряжу моих родин
 Пряли бдящие Судьбы,
 210 Меж тем как у Леды в покоях цвело
 Детство мое,
 Обетный плод отеческих клятв,
 Зачат, повит, вращен, обречен
 Серцу нерадостной жертвы
 На горьком песке Авлиды,
 Куда примчал колесничий бег,
 Увы, не невесту на брачный пир —
 Меня к Нереидину сыну.

Чужой мне жить на чужом берегу,
 Где сад не цветет, где нет у меня
 220 Ни дома, ни мужа, ни детей, ни друзей —
 У самой желанной из эллинских дев! —
 Не петь мне аргивскую Геру,
 По струнной основе снуи челноком,
 Не ткать мне лик
 Паллады, разящей титанов,
 Нет: кровь и стоны, неладный лад,
 Алтарный удел чужеземных жертв,
 О них мне рыдать,
 О них проливая слезы.

И лишь сейчас, о них позабыв,
 230 Я плачу о том, кто погиб вдали,
 О брате, которого так давно
 Юнцом, птенцом, цветком, сосунком
 Оставила я на чужих руках —
 Оресте, царе аргивском.

.